
С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

М.В. ИЛЬИН

**МЕЖДУ ОЧЕВИДНЫМ И НЕВЕРОЯТНЫМ.
ГДЕ ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ
УНИВЕРСАЛИСТСКИХ СХЕМ?**

Рецензия на книгу: *Fukuyama F. The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution.* – L.: Profile books. 2012. – 585 p.; *Fukuyama F. Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy.* – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2014. – 658 p.

Появления нового труда Фрэнсиса Фукуямы ждали с нетерпением. Что скажет на этот раз исключительно конъюнктурно меткий автор? Каким образом вся мыслимая эволюция политики будет представлена в рамках единой концепции? Как будет сочетаться универсальная трактовка политического порядка с его вариациями во временах и цивилизационных пространствах? Что дает Фукуяме фокусирование внимания на понятии политического порядка? Такие примерно вопросы появились у меня при чтении первых объявлений о готовящейся публикации. Вероятно, у коллег появилось еще больше иных вопросов, но так или иначе обращение Фукуямы к понятию политического порядка, а также обещание соединить универсализм и конкретность анализа интриговали многих.

Ожидание было долгим. Разговоры о новом труде Фукуямы начались уже в 2010 г. В апреле 2011 г. появился первый том [Fukuyama, 2011]. Некоторые вопросы прояснились уже в 2012 г.,

когда на мой стол попала версия книги в мягкой обложке [Fukuyama, 2012].

Фукуяма трактует политический порядок как базовую характеристику политической организации высокой сложности и длительного эволюционного состояния. При этом политический порядок рассматривается двояко. В простейшем понимании – это универсальная эманация властного контроля, не дающего восторжествовать хаосу и беспорядку. В контексте развития – это базовая характеристика и одновременно длительная эволюционная фаза политической организации высокой сложности, обретающая «веберовскую» монополию на принуждающее насилие в ходе «модернизации».

Вместе с тем многие вопросы оставались неясными. Приходилось ждать второго тома. Сам Фукуяма обещал: «Второй том доведет историю до настоящего. Особое внимание будет уделено воздействию западных институтов на институты незападных обществ, которые стремились модернизоваться... Затем будет описано, как политическое развитие осуществляется в нынешнем (contemporary) мире» [Fukuyama, 2012, XV].

Теперь настало время охватить одним взглядом весь *opus magnus* популярного автора, больше 1200 страниц текста. Какие же уроки можно извлечь политической науке вообще, а отечественной в особенности?

Первый и главный урок. Масштабность замысла, подогревание интереса к нему на протяжении месяцев и даже лет сами по себе становятся фактором развития науки. Ничего подобного мы не делаем, хотя возможностей немало. Взять тот же «Политический атлас современности» [Политический атлас..., 2007], или «От общественного к публичному» [Хархордин и др., 2011], или «Политическая идентичность и политика идентичности» [Политическая идентичность..., 2011–2012], или «Гражданское и политическое в российских общественных практиках» [Патрушев и др., 2013]¹. Каждая из этих книг вполне заслуживала того, чтобы разговор о ней начался загодя, чтобы он продолжился в разных формах, включая обсуждения и рецензии, чтобы последовало продолжение в виде новых исследований и публикаций. Но нет, не решились коллеги на такое. А даже если бы и собрались, то неизвестно, что

¹ См. рецензию в «Политической науке», 2014, № 4.

получилось бы. Скорее всего, произошло бы по Гамлету: «Так погибают замыслы с размахом, Вначале обещавшие успех, От долгих отлагательств»¹. Не верится что-то в упорство, последовательность и, главное, профессиональную солидарность и интерес к творчеству друг друга. А без этого какая может быть научная традиция? В лучшем случае – «плоский ландшафт», как говорит А.Ю. Мельвиль [Мельвиль, 2012; Мельвиль, 2013].

Вернемся, однако, к предмету нашей рецензии, к сочинению Ф. Фукуямы.

Важнейший содержательный урок заключается в том, что безоговорочное расширение масштаба от «предчеловеческой» поры до наших времен существенно обедняет и ограничивается аналитический аппарат, – если предварительно не «постелить соломку», не предусмотреть методологическую перефокусировку масштаба, как это предлагал великий Чарльз Тилли еще три десятилетия назад [Tilly, 1984]. Наряду с масштабностью и длительностью Фукуяма приписывает политическому порядку универсальные и вневременные характеристики властного контроля. Показательно, что и в заголовке, и в тексте книги используется единственное число. Это позволяет автору связать возникновение политического порядка в первом эволюционном смысле с жестким и жестоким принуждением.

Возникновение политического порядка в эволюционном смысле Фукуяма связывает с тем, что он называет *модернизацией*. Правда, некое подобие политического порядка в первобытных условиях уже возникает, однако назвать его порядком Фукуяма не решается, а говорит о *естественной общительности* (natural sociability) *социальных животных* (social animals). Отсюда и указание на дочеловеческие времена в подзаголовке первого тома. Сколько-нибудь серьезно сам антропогенез Фукуяма не рассматривает, а лишь констатирует чудесное появление социальности как своего рода среды для формирования порядка. Затем уже в племенных и патримониальных условиях возникает его подобие, но оно по определению несовершенно. Так, появление государства на месте племени связано с появлением монополии на принуж-

¹ And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn
awry, And lose the name of action.

дающее насилие, однако и сама она, и зачатки возникающего порядка не отвечают стандартам, которых требуют жесткий предельный масштаб и универсализм, заданные Фукуямой.

Результат довольно озадачивающий. Получается, что столь жесткие, предельные критерии применяются не только к дочеловеческим, но и к уже вполне человеческим временам. А это примерно 80 тыс. поколений, если считать с раннего палеолита, 30 тыс. поколений с освоения огня, 13 тыс. поколений с образования современного вида *homo sapiens* и около 5–7 тыс. поколений с верхнепалеолитической революции и появления, как говорят антропологи, *поведенческой современности* (behavioral modernity), характеризующейся культурными универсалиями (погребениями, играми, произведениями искусства и, естественно, языком и интеллектом). Большая часть всех этих времен попросту не видна.

Отчетливо видны лишь времена настоящего порядка. Но тогда исчезнет широчайший временной масштаб. Как тут быть? Фукуяма находит выход в различении подлинного порядка, его он называет современным (modern), и предшествующих ему разновидностей неполного и неполноценного намека на порядок.

Широкая универсалистская рамка вынуждает Фукуяму редуцировать модерн к трем простым составляющим. Это *государство* (the state), *верховенство закона* (the rule of law) и *подотчетное правление* (accountable government, что можно также понять и как подотчетное правительство) [Fukuyama, 2012, p. 16]. Все эти три составляющие рассматриваются как вполне автономные, а сама политическая сфера – как полностью независимая от культуры, хозяйственной деятельности и других сфер человеческого существования. В этом отношении Фукуяма противостоит господствующей точке зрения, что эффект модернизации создается как раз за счет синергетики развития в разных сферах, а развитие лишь одной сферы ведет к абортивным модернизациям [Сергеев, Бирюков, 1998].

Фукуяма настаивает: «Одна из величайших ошибок ранней теории модернизации помимо заблуждений, будто политика, экономика и культура должны соответствовать (had to be congruent) друг другу, заключалась и в признании того, что переходы между “стадиями” истории отчетливы и необратимы» [Fukuyama, 2012, p. 77–78]. Что касается отчетливости, то тут трудно спорить. Соответствующий пагубный постулат (pernicious postulate) выделяет и

критически рассматривает еще Чарльз Тилли [Tilly, 1984, p. 33]. А вот отстаиваемая Фукуямой обратимость сама крайне пагубна. Она ведет к построению произвольных последовательностей (sequencing), что существенно искажает логику эволюции и исторического развития. Но об этом чуть позже, а пока рассмотрим трех китов современного порядка, начиная с основного – государства.

Некое подобие политического порядка в первобытных, племенных и патримониальных условиях¹ уже возникает, однако он вполне обретает свои «веберовские» черты безусловного и полного господства, монополии на принуждающее насилие лишь с появлением государства. Когда же это произошло? Фукуяма верен своей конъюнктурности и чувству моды. В Китае, конечно. «Так называемый восточный деспотизм – это не что иное, как скороспелое (precocious) возникновение политически современного государства» [Fukuyama, 2012, p. 93].

Фукуяма связывает образование государства с достижением определенного уровня эволюционной развитости, а точнее, масштабов концентрации мощи, ее объемов и плотности. В Китае создание соответствующих политий было сопряжено с беспрецедентной концентрацией власти и созданием аппарата силового принуждения. По мнению Фукуямы, это произошло постепенно. Первая попытка приходится на эпоху Чжоу, точнее, Восточного Чжоу в VIII в. до н.э. Затем уже в III в. до н.э. она подкрепляется созданием многих новых институтов военно-бюрократического господства. Наконец, полной определенности и тотальности господство централизованной военно-бюрократической власти достигает при Цинь Шихуан-ди (II в. до н.э.).

Фукуяма исключил другие древние цивилизации. «Хотя Греция и Рим были исключительно важны как предшественники современного подотчетного правления (modern accountable government), Китай гораздо важнее в развитии государства (the state)» [Fukuyama, 2012, p. 21].

¹ Фукуяма даже выделяет особый тип патримониального государства, но редуцирует его до «личного владения правителя», а его аппарат до «продолжения домохозяйства правителя» (Fukuyama, 2014, p. 10). Разумеется столь мощная редукция ведет к невозможности разглядеть фактические формы как исторического, так и нынешнего патримониализма.

Это связано с выходом из состояния варварства и перерастания полисных порядков впервые, как он считает, в эпоху Чжоу (точнее, Восточного Чжоу с VIII в. до н.э.) и вполне определенно в эпоху Цинь (II в. до н.э.). «Война была, без всякого сомнения, единственным наиболее важным двигателем формирования государства при китайской династии Восточного Чжоу. От начала правления Восточного Чжоу в 770 г. до н.э. вплоть до консолидации династии Цинь в 221 г. до н.э. Китай испытал беспрестанную череду войн, которые увеличивались по масштабам, затратности и потерям человеческих жизней. Переход Китая от децентрализованного феодального государства к централизованной империи (unified empire) достигался исключительно с помощью завоевания. И буквально каждый современный (modern) государственный институт, созданный в этот период, может прямо или косвенно быть связан с необходимостью вести войну» [Fukuyama, 2012, p. 111].

С его точки зрения, государства отнюдь не политические образования, коллективно начавшие создавать со второй половины XV столетия системы равных друг другу в правовом отношении и суверенных «статусов» (stati, states etc.). Для него это мощные системы ведения войны и имперского господства. Фукуяма считает полное и безоговорочное господство над населением с помощью вооруженного насилия первым и основным современным политическим институтом. «Китай единственный (alone) создал *современное (modern. – Курсив Фукуямы)* государство в терминах Вебера» [Fukuyama, 2012, p. 21].

Однако беспрецедентная концентрация мощи и ресурсов силового принуждению в руках Цинь Шихуанди отнюдь не равнозначна монополии, пусть даже она и выглядит таковой. Гибель системы беспрецедентного насилия вслед за смертью самого ее создателя прекрасно это подтверждает. Труп «первого императора» еще лежал, обложенной соленой рыбой, чтобы замедлить тление, а ресурсы принуждения уже лавинообразно расхватывались ловкими придворными, а там теми, кто оказывался смел.

Беспрецедентная концентрация мощи не отменяла принципа непрямого правления. Именно поэтому созданному Цинь Шихуанди порядку господства не хватало по-современному понимаемой однородности и универсальности, а значит, и монополизма. Каждый раз принуждение осуществлялось маленькой копией власти-

теля. Над ними не было обезличенного порядка-состояния, который нес в себе монополию, но не отдавал его никому лично, никакой инстанции, кроме единственного себе и столь же универсального в своей абстрактности суверена. На Цинь Шихуанди можно показать пальцем, на современного суверена – нельзя. Как только удастся указать на Гитлера, хунту или даже на «майдан», появляются сомнения по поводу действительной суверенности и современности соответствующих государств.

Возвратимся, однако, к тексту Фукуямы. Серьезные сомнения вызывает и то, что он не только придает принципу монополии государства на принуждающее насилие самодовлеющее значение, но и противопоставляет его другому современному принципу – подотчетности властных инстанций¹. Сам Макс Вебер был далеко не столь жесток. Как можно понять его трактовку парламентаризма и других современных институтов, их связь с государством и его монополией на принуждающее насилие далеко не случайна и логически оправдана.

Как же соотносится государство, точнее, современное, предельно централизованное, принудительное и деперсонализованное государство с двумя другими столпами современности: верховенством права (rule of law) и подотчетным правлением (accountable government)?² Они возникают значительно позже и предстают в несколько более размытом виде.

Верховенство права Фукуяма выводит из религиозных традиций и связывает с кодификацией римского права в христианском мире. Одновременно он увязывает его с другой традицией – появлением общего права в Англии после норманнского завоевания, которое «утверждалось в меньшей степени церковью, чем ранними монархами, которые использовали свою способность распространить безличное правосудие (impersonal justice) как средство укрепления своей легитимности» [Fukuyama, 2014, p. 12]. Замечание странное, по меньшей мере, в двух отношениях. Возникает вопрос:

¹ «Хотя Греция и Рим были исключительно важны как предшественники современного подотчетного правления (modern accountable government), Китай гораздо важнее в развитии государства (the state)» [Fukuyama 2012, p. 21].

² Во втором томе подотчетное правление превращается в демократическую подотчетность (democratic accountability). Именно так оно именуется теперь в специальной главке [Fukuyama, 2014, p. 12–15] и далее по всему тексту.

если общее право было инструментом королей, то откуда взялось его верховенство? Одновременно требуется уточнение. Утверждение и самой традиции общего права, и практики не столько безличного, сколько честного и справедливого отправления правосудия связано с развитием института мировых судов, а также судов справедливости (court of equity) примерно с XIV столетия. Короли в силу различных обстоятельств вынуждены были не мешать этим процессам, а порой и неохотно помогать им. Как бы то ни было, утвердилось верховенство закона в полной мере даже на британской почве только после Славной революции и возникновения конституции в конце XVII столетия. До этого, как показывают шекспировская «Мера за меру» и проблематичность процесса над Карлом Стюардом, об отчетливом и бесспорном верховенстве права даже в наиболее продвинувшейся в данном направлении Англии говорить не приходится.

Сделанные выше оговорки, а число их можно умножить, обращаясь едва ли ни к каждому утверждению Фрэнсиса Фукуямы, подтверждают, что одностороннее и жесткое расширение масштаба выводит из поля зрения необходимую фактуру и заставляет автора насыщать свою аргументацию ее произвольным привлечением.

В еще большей степени парадокс сочетания предельной абстракции с произвольной фактурой проявляется в случае демократической подотчетности. Как я уже отмечал, во время пути собачка успела уже подрасти. *Подотчетное правление* (accountable government) первого тома превратилось в *демократическую подотчетность* (democratic accountability). Их эквивалентность в рамках общей конструкции Фукуямы еще более усиливает концептную растянутость, и без того избыточную и для одного, и для другого понятия.

Концептная растянутость облегчает Фукуяме использование простого и «очевидного» примера подотчетности. Это «феодалные институты сословий, известные под разными именами как Кортесы, Диета, двор суверена, Земский Собор, или – в Англии – как Парламент» [Fukuyama, 2014, p. 12]. Примеры явно зыбкие, хотя открывателей суверенной демократии Грызлова и Мединского они обрадовали бы. Фактически подобные же явления можно было бы найти гораздо раньше вплоть до полисов, например, Римской республики. Там действительно в еще более отчетливой форме институциональный предшественник подотчетности в виде горизон-

тального разделения властей и вертикальной контроле существовали. Но это была отнюдь не подотчетность, а ее эволюционные протоформы в виде сдержек и противовесов. Порой они подкреплялись клятвами и отчетами, напоминая будущие практики подотчетности или даже предвосхищая их. Однако институциональные рамки сдержек и противовесов вплоть до поры устойчивой демократизации и, по большому счету, до третьей волны демократизации, как правило, насыщались отнюдь не демократическими практиками. И только с регулярным и устойчивым их насыщением демократическими практиками начинается их собственно институциональная трансформация в подотчетность. Характерно, что заметили такие институциональные эффекты Филипп Шмиттер и Терри Карл только в 1991 г. [Smutter, Karl, 1991]. Это открытие, однако, фактически оставалось не замеченным коллегами вплоть до второй половины 90-х годов, когда растущее количество демократий резко превысило уменьшающееся количество автократий, а институты и практики подотчетности стали основным различительным признаком произошедшего исторического (а возможно, и эволюционного) изменения.

Вместе с тем Фрэнсис Фукуяма признает: «Хотя эти новые политические порядки установили принцип подотчетности, ни Англия 1689 г., ни Соединенные Штаты 1789 г. не могут быть признаны современными демократиями» [Fukuyama, 2014, p. 13]. То, что Фукуяма называет принципом подотчетности, не было, конечно, ни подотчетностью, ни даже ответственностью. Кабинетная система начинает зарождаться в Англии только в начале XVIII в., а ответственные правительства появляются уже ближе к концу столетия. Да и парламентская ответственность при всей своей исторической и эволюционной значимости еще была крайне далека от подотчетности и по своей институциональной конфигурации, и по используемым практикам, хотя предвосхищала ее и прямо готовила ее появление.

Что касается не только подотчетности, но и вообще намеков на современную демократию, то они стали появляться совсем недавно. В своей книге о соперничестве и демократии с 1650 по 2000 г. Чарльз Тилли предлагает вооружиться «поисковиком демократии XXI века» и отправиться в век XVII. Что этому замечательному ученому удастся обнаружить, высадившись в 1650 г.? «Обилие революций и войн, но считанные приметы демократии» [Tilly,

2003, p. 42]. Более того, еще Роберт Даль отмечал, что в Западной Европе «до 1900 г. только во Франции, Италии и Швейцарии были кабинеты или премьеры, полностью подотчетные избираемому законодательному органу» [Даль, 2003, с. 360]. Да и другие приметы демократии, включая инклюзивное гражданство, избирательные права и т.п., стали превращаться из диковинок и новаций в нечто регулярное и «естественное» только в последние десятилетия – да и то далеко не повсеместно.

Основной урок заключается в том, что предельное и жесткое расширение масштаба вызывает крайнюю бедность универсалистских схем. Попытки произвольно насытить их фактурой приводят к падению с лестницы абстракции [Sartori, 1970]. Что может быть сделано? Один выход заключается в использовании по примеру Макса Вебера типологического анализа. Тогда широчайшие обобщения могут быть представлены в виде вполне детализируемых и насыщаемых конкретным содержанием прототипов или для отдельных исследовательских задач различных типов от идеальных или чистых до пограничных, исторических и даже усредненно-эмпирических. Другой выход заключается в варьировании масштабов и в передвижении по сарториевской лестнице абстракции. В этом случае одну и ту же схему или принцип можно будет трансформировать и соотносить с равновеликой себе фактурой.

Некое сочетание этих двух подходов, да еще и подкрепленное сужением общей рамки с дочеловеческих времен до писаной истории человечества, предприняли Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст [North, Wallis, Weingast, 2009; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2009]. Полученные ими результаты выглядят куда убедительней построений Фрэнсиса Фукуямы. Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст предложили системную типологию социальных порядков весьма высокой степени абстракции. Они сделали порядок (и порядки – для них различие множественного и единственного числа несущественно) буквально базовой категорией, призванной описывать и объяснять общесистемные свойства целых эволюционных поколений общесоциальных систем. В частности, они выделяют порядки открытого (*open access orders*) и ограниченного доступа (*limited access orders*), что предполагает и не рассматриваемую ими возможность порядков закрытого доступа (*closed access orders*). Конечно, редукция открытости как таковой к открытости

доступа¹ как будто конкретизирует используемую ими категорию. Это должно было бы уменьшить угрозу избыточной абстрактности. Однако на деле происходит нечто напоминающее концептную натяжку. Фактическое рассмотрение эффектов общеморфологической открытости осуществляется лишь с учетом доступа, но трактуемого по необходимости крайне расплывчато.

В своей книге Норт и его коллеги постоянно перемещаются по лестнице абстракции от анализа функционирования отдельных социальных порядков и даже часто от специфических способов их социального открывания или ограничений подобного открывания до придания соответствующим практикам самодовлеющего, эпохального, всемирно-исторического значения. Равным образом они трактуют крайне абстрактные принципы открытости доступа и затем прямо связывают их с весьма конкретными и исторически преходящими практиками. Происходит скачок с самой нижней ступеньки лестницы на ее вершину или прыжок с вершины абстракции к самой непосредственной конкретике².

Свои масштабные научные труды и Норт с соавторами, и Фукуяма нацеливают на широчайшие обобщения. Угол их зрения расширяется, но детали и повседневная фактура скрадываются. Правда, при этом они акцентировали и выпятили некоторые характерные детали, создав иллюзию, будто гигантские эволюционные порядки можно редуцировать до весьма конкретно понимаемых правил, а не абстрактных принципов. Фактически нам с вами и всей мировой политической науке брошен вызов. Задача заключается в том, чтобы обеспечить широту обобщений при сохранении возможности эмпирической их проверки конкретной фактурой. Задача непростая, но без ее хотя бы частичных решений никто из нас не сможет продвинуться в изучении своей проблематики, какой

¹ Данная редукция фактически исключает все другие аспекты открытости, а именно баланс обменов со средой. В случае с империями важен не столько доступ, например, варваров к благам цивилизации, сколько экспорт этих благ, а с ними коммуникативных, политических, хозяйственных и прочих порядков, имперских форм и самой имперской формы. В случае с современными системами количество параметров обмена со средой радикально возрастает, что тем более делает проблематичным выделение одного лишь доступа.

² Подробнее см.: [Ильин, 2014].

бы специфической и независимой от общих методологических вызовов она ни казалась.

Список литературы

- Даль Р.* Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – 576 с.
- Мельвил А.Ю.* Перспективы развития высшего политологического образования // Развитие образования в России: опыт ВШЭ. Круглый стол, 26 ноября 2012. – М., 2012. – 12 с. – Режим доступа: <http://www.hse.ru/data/2012/11/29/1301332296/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%20%D0%AE%20%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5.%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf> (Дата посещения: 01.02.2015.)
- Мельвил А.Ю.* Когда и как может закончиться «линнеевский этап» в нашем профессиональном развитии? Методологический семинар РАПН «Российская политическая наука сегодня», Москва, ИНИОН РАН // Российская ассоциация политической науки. – М., 2013. – Режим доступа: <http://rapn.ru/in.php?d=4170&gr=1623> (Дата посещения: 01.02.2015.)
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 479 с.
- От общественного к публичному / Под ред. Хархордина О.В.. – СПб.: Европейский университет. 2011. – 529 с.
- Патрушев С.В.* Гражданское и политическое в российских общественных практиках / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – 2013. – 525 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности / Под ред. И.С. Семененко; в 2-х тт. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). – Т. 1. – 2011. – 537 с.; Т. 2. – 2012. – 498 с.
- Политический атлас современности. Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств / Под ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: МГИМО, 2007. – 271 с.
- Сергеев В.М., Бирюков Н.И.* В чем секрет «современного» общества // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – № 2. – С. 52–63.
- Fukuyama F.* The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2011. – 608 p.
- Fukuyama F.* The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution. – L.: Profile books. 2012. – XIV, 585 p.

- Fukuyama F.* Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. – N.Y.: Farrar, Straus and Giroux. 2014. – 658 p.
- North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R.* Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. – N.Y.: Cambridge univ. press. – 2009. – 436 p.
- Sartori G.* Concept misformation in comparative politics // American political science review. – 1970. – Vol. 64, N 4. – P. 1033–1053.
- Schmitter P.C., Karl T.L.* What democracy is... and is not // Journal of democracy. – 1991. – Vol. 2, N 3. – P. 75–88.
- Tilly Ch.* Big structures, large processes, huge comparisons. – N.Y.: Russell Sage Foundation, 1984. – 192 p.
- Tilly Ch.* Contention and democracy in Europe, 1650–2000. – Cambridge: Cambridge univ. press. – 2003. – 305 p.